

*Деду
Лукьянову
Александру Трофимовичу
посвящаю*

Дымок от затушенного костра поднимался тонкой струйкой, еле видной в сумерках. Шумели сосны, покачиваясь на ветру, гуляющему высоко. Кряхтела груша-дичка посреди поляны скошенной травы, как старуха, что через боль в костях ещё старается что-то сделать – прибрать, подмести. Так и груша вот-вот согнётся и прикроет голыми от старости ветвями флягу с холодной питьевой водой.

Весь день мы сгребали сено в валки, и они лежали теперь как выползшие из-под земли в темноте на лесной поляне.

От работы гудели руки. Усталость жгла под веками. Хотелось спать, но после дневной жары было зябко, и комары зудели, лезли в лицо. А укрыться от них с головой – дышать тяжело, душно, да и куртки пропахли дымом.

Я ворочался с боку на бок, вытягивал ноги, замерзал, укрывался, сбрасывал куртки, махал руками, отгоняя комаров; застеленная сеном телега казалась мне узкой, а воздух – душисто-сладким.

Отражаясь в тракторном стекле, зажигались звёзды. Над верхушками сосен встал яркий ме-

сяц, осветив скатерть поляны, валки, заросший обрывистый берег. Мне всё ещё чудился в руках гладкий черенок граблей, и казалось: вот-вот, и снова вставать, сгребать, но теперь уже звёзды в одну большую бриллиантовую копну. Ворочаясь, я видел поляну, и она при лунном свете всё уходила вдаль, расширялась и сливалась с соснами где-то совсем далеко. Как вдвоём её осилили – ума не приложить.

76

Да, сна не видать – хоть вставай. И вправду, встать, что ли, взять удочки, попробовать порыбачить... Битюг здесь глубокий, одни омуты. И вода ледяная. Пот смыть и то страшно, из ведра охлынёшься – сердце застывает. А месяц уже там, должно быть, в реке, точно слиток золотой, на дне лежит. И звёзды блестят, заглядывают в белые глаза кувшинок... Нет, раз лёг – уже не встать, лень. И дед не спит – шумно зевает, вяло отгоняет комаров. А может, я ему спать мешаю...

От Битюга поднялся густой туман, как молочно-белый дух реки. Низко стелясь, он пополз во все стороны. Коснулся груши и фляги у её ствола. Упёрся в тракторные колёса. Скрыл под собой сундучок с едой и деревянные грабли.

– Да, тогда тоже туман был, – сказал дед как самому себе.

Я повернулся к нему и так же тихо спросил:
– Когда? В прошлом году?

Дед лёг на бок и засмеялся, как смеются старики, тяжело втягивая воздух.

– Ну уж «в прошлом году»! Годков много прошло...

Он замолчал. И я молчал тоже. Тишина, казалось, гудела, мучительно что-то храня в себе.

Хлопнув комара на шее, я не выдержал:

– Ну что? Туман – что?

Дед повернулся на спину и грубой ладонью потёр щетинистый подбородок:

– Годков много прошло... Да-а-а... Ещё в войну. Это сколько?.. А-а-а, девятого скажут. Девятого всё: и как губили, и как бомбили, а десятого – молчок. И то хорошо. Хоть так... – Он вздохнул, пожевал губами. – И то... Мы раньше работали не то что нынче. Денег им подавай побольше, хлеб с маслом. Мы работали, так работали. Зачем, для чего – знали. А сами – четырнадцать годков. Худые, как спичка, хоть на фронт посылай – в упор стреляй, не попадешь... Э-хе... А лето – тут наскребай мозоли. Колхоз. И дома в стороне не стояли. А вечером с колхозным конюхом, Зелёновым дедом, коней в ночное гоняли. Зелёнов Алексей Иванович – был такой.

Старик. В фуфайке ходил зимой и летом. Чёрная такая, засаленная, аж блестит. Вот тебе: «зимой и летом одним цветом»... Нас человек десять одногодков. У каждого лошадь своя, любимая. Кто себе выбрал – чужой не тронь, а то получишь. Ну какая там драка – потолкаемся, а потом сопли утрём, и опять не разлей вода. Обычное дело: повздорили, поспорили – и ветерком выдуло, как не было ничего... Да, такие дела... И вот у каждого лошадь «своя», и он вокруг неё так и вьётся, так и вьётся... У меня Весёлый был. А чего Весёлый? Чёрт его знает! А так смотришь – улыбается вроде, глазами. Казалось... Раз Весёлый, так улыбаться должен... И мы, значит, играем, боремся, то скачки устроим, то ещё что... Да-а-а, вот... И то, какая это работа? Забава одна. Друзья, лошади тут, целый вечер смеху, аж щёки дубеют. А тут – вечером тем – на Бабье болото поехали. Дед травы накопил, а мы её в кучу – постель вроде... Кхэ!.. – Дед громко закашлял, прикрыв рот кулаком. Доски телеги слабо скрипнули. Дед вытер губы. – Во-о-от... Тут уж ночь. Глаза слипаются. За день намаялись, ноги как мякоть. Травы... кхэ... настё.. кхэ... настелили, зарылись в неё, а холод – не уснёшь. Дрожим, ворочаемся, глаза слезятся, холод – до

костей. Ну, слезалась трава. Согреваться стали кое-как... по чуть-чуть, помалу. Тут уж угомонилась... Да, тут уж не заметишь, как уснёшь – с усталости, в тепле... А дед Зелёнов в подводе спал. Он любил там. Каждый раз...

Дед замолчал. Он лежал на спине, сложив руки на животе поверх курток. В свете луны было видно, как он вытянул губы, будто вспомнил какую-то старую мелодию и собирался тихо её насвистеть. Он зевнул – сладко, протяжно. Продолжил:

– Сколько спал, не помню. Проснулся – только брезжит. Туман кругом густой, как сметана. А начинается вот так, в полуметре от земли. Я на колени встал – голова в тумане, а сам нет. Туман сырой, холодный. А мне интересно. Туман вверху, а над землёй видно. Лошади вдали ходят – одни ноги видно. Чудно так... Ладно. Смотрю, лошадь одна ближе идёт. Я... Сердце как об сковородку бьётся. Какая ж это лошадь?! Ноги человечьи! Двое идут, и как-то медленно, с опаской, будто лишнего шума сделать бояться. У меня во рту пересохло, воздух холодный аж до кишок проходит. Ближе... Ближе... Я лег как мёртвый. Страшно – жуть. А эти – ближе. Через туман фигуры видно, размыто так, еле-еле, а видно. Сердце – и в горле, и в ушах. А они вплотную уже. Мне и дышать страшно. Сердце щемит, всё громче, громче бухает, вот-вот, думаю, услышат. И шевелиться боюсь – заметят. А затылок, как назло, чешется, и шея немеет – вот хрустнет... А они на меня, сейчас на ногу наступят... Смотрю, остановились. Сквозь туман фигуры просвечивают, а что там на них, какие они – не видно. Ну, думаю, и меня не видно... А может, услышали? Стоят, прислушиваются: где это сердце бьётся?..

– Так чего боялся? – Я пододвинулся ближе. – Заблудились...

– Да... – дед хмыкнул, на щеках его заиграли желваки. – Заблудились... Нашли где. Когда заблудятся, молчком не ходят. Тихо так они, словно прячутся. А уж когда встали... Чего им бояться? А эти... И как стоят, и сапоги – обычные сапоги, а как-то... Всё так, да не так. Что-то... Как сказать? Нехорошее... Человек когда стоит, по нему видно. А эти... Да-а-а... И страшно, сердце разбухает. Дышу через раз, в груди жжёт, а всё громко как-то... Тут один нагнулся. По мне пот градом. На землю что-то ставит. Видно, вниз не смотрел, а поставил чуть не на ногу мне. Смотреть неудобно. Чемоданчик

какой-то небольшой... Раньше у железнодорожников были. Коричневый... Саквож, что ли?.. Железнодорожники с такими ходили – у них там ключи всякие, всё такое... Смотрю на ноги им, а они друг к дружке повернулись и молчат. Вот, думаю, сейчас нагнётся – и в меня глазами... Зажмуриться хочется, а не могу... Они развернулись. Тот боком согнулся так, ручку нащупал, поднял – в другую руку, стало быть, взял. Прочь пошли... Уходят – дальше, дальше... И тихо, как с опаской, ступают неслышно. В сторону от лежанки нашей и от повозки ушли... Уж невидно их, и ног их невидно, а я всё лежу; дышать, шевелиться не могу никак... Сколько лежал, не помню. Тут уж туман бледнее, бледнее... Я кое-как, ползком к повозке. Мурашки по коже бегают. Знаю, ушли, а кажется, где-то здесь ещё – того и гляди в сапог упруешься. Подползаю – дед спит, голову запрокинул. А если б захрапел?.. У меня ком в горле, слёзы к глазам подступают. Так захрапел бы – и всё... Подушили бы нас, как котят. А дома тепло... И мать...

– Да, дед, на войне не был, а страху натерпелся...

– Да... – дед потёр щёки, изрезанные глубокими морщинами. – Я – деда Зелёнова за рукав, а он меня матом: иди, мол, отсюда, спи!.. Я всё тяну, рот разеваю, как рыба. Он проморгался спросонья: «Чего?» Я кое-как ему: «Два, два...» И пальцем: «Туда... туда!..» Он слез с повозки, посмотрел: да, трава в росе, по росе хорошо видно следы. Пальцем мне: «Молчи!» Сам лошадь поймал и поскакал в сторону села. Ну в Хреновое то есть...

Тут уж совсем светло. Я стал ребят будить. А у самого холодок – это ж надо, думаю, ни одна душа не храпела. Тут каждую ночь кто-нибудь да устроит, а сейчас... Бог уберёт. Засвистел бы кто носом, и что тогда?.. Ребята сонные. На меня нуль внимания. А так ведь хочется, чтоб кто-нибудь спросил, куда это дед делся и что это я такой?.. Дед молчать велел, а так хотелось сказать... Аж внутри ходуном ходило! И хочется – и нельзя... И весело так после страха. И гордость какая-то! Это ж не просто так! Это ж я молодец! Да-а-а... А тут внимания – нуль. Обидно, не приведи Господь. Собрались, лошадей домой погнали, а я всю дорогу представляю, как меня по плечу хлопать будут: «Молодец, Санёк! Герой – что ты!».

А в это время в здание школы солдат пригнали. И вот они все куртины, все солотя – как учение. Цепочкой выстроились и давай прочёсывать.

То и дело: «Ура! Ура!» Вроде в бой идут. Вечером смотрим: солдаты на краю села появились. Четырёх человек ведут в железнодорожной форме... Все, кто был, на улицу высыпали, галдят, обсуждают: «Кто такие? Кто такие?». А я как крикну: «Это я! Это я их!.. Только их двое было!.. Я деду Зелёнову сказал!» И тут мне затрещина – в глазах потемнело. Я в слёзы. Мать меня за ухо – и в дом. «Молчи, собака, – говорит, – смерти нашей захотел?!» Да... Немцы уже на Дону стояли. Хреновое бомбили... Здесь на станции – эшелоны военные; а в степи самолёты стояли... Среди соседней были и такие, кто немцев ждал уже... А если б немцы в Хреновое пришли, чёрт знает, что б сделали за мой-то подвиг... И со мной... И с матерью... Со всей семьёй...

Дед лёг на бок и закрыл глаза. Говорил он всё медленней, всё тише...

– Мне четырнадцать стало... в июле, сорок втором... Трактористом стал... В нашем отряде женщины да такие, как я... В две смены работали: день, ночь... В полевом стане жили. Домой не пускали обмыться, одежду сменить... Ночью страшно... Глаза слипаются, а трактор без кабины. Задремлешь, и вниз... под колёса... Случай был... парнишка... уснул... Раздавило... По двое... стали... – дед замолчал, дышал глубоко, ровно – уснул.

В первый раз в жизни я пожалел, что не могу видеть чужой сон. Снится ли ему туман, эти ноги или затрещина матери? А может, снится ему, как дурачились они, скакали на лошадях, вздорили и быстро мирились? Как были счастливы счастьем юности, той, которую не убьёт, не отнимет ни один враг и в душе от которой останется самое доброе и светлое... Нет ничего ярче детства. Даже детства, в котором была война...

Отчего-то мне было грустно.

Туман исчез, лёг дух реки в своё извилистое крепкое русло. Чаем пахло сено. Луна уже много прошла, по-хозяйски вымеривая ночное небо. Комары пропали, видно, холодно стало для них... Да и что они нам теперь?..

Я потеплее укрылся куртками, но спать не мог. Я думал.

Да, это крохи, малые крохи... Но главное, не потерять их, сохранить. Сколько ещё нерассказанных историй? Сколько историй, которые уже никогда не будут рассказаны? Все их нужно узнать, все их нужно сберечь, донести до людей. Иначе погибнут они. Погибнут те дети, солдаты,

78

те города и сёла. Погибнут наши отцы и деды. Погибнут... И уже не будет средств вернуть их обратно...

Утром мы погрузили сено в телегу. Солнце уже припекало. Железо тракторной кабинки нагрелось и жгло руки. Поляна казалась коротко подстриженной зелёной головой.

Взревел тракторный движок. Громкое эхо пролетело над Битюгом, заблудилось в дере-

вьях, пугая птиц. Мы тронулись в путь по узкой лесной дороге, по колеям, ведущим домой.

Поляна осталась за поворотом, рассыпалась в частоколе сосновых стволов.

Сколько лет прошло, а ни разу не довелось мне вернуться туда. Уж и не знаю теперь, есть ли она ещё, та поляна? Цела ли та груша, тот обрывистый берег, ледяная вода? Да, есть история и память, но нет и не будет дорог, ведущих назад, в прошлое...

